

Мы, навьюченные, как лошади, сползали с гор. Олени пали. Они остались там, на взглыбившихся в поднебесье гольцах, где зима разбросила снежный саван. Мы спешили вниз, к озеру. Туда должен прилететь вертолёт и перебросить нас на базу партии.

В небе, тяжело ворочая крыльями, плыли гуси. Их горластые клинья медленно таяли, всверливаясь в стылую зыбь горизонта. Наконец, мы, ошалелые, вывалились из тайги на плоский берег.

Вода в озере невероятно густой синевы. Я знаю такие глаза. Молча, с какой-то злой радостью, люди ставили палатки — последний лагерь сезона.

Наспех закусив тушёнкой, втиснулись в спальные мешки. Редкие заряды снега шуршали по выгоревшему брезенту. К полуночи резко похолодало.

— Княже, не сталкивай с нар! — это голос Гунна. Он начальник отряда. Все мы почти ровесники, и у всех нас есть прозвища. Князем зовут высокого лоботряса Витьку. Он коллектор. Я слышу, как Витька чмокает во сне губами, хнычет и вдруг громко орёт:

— Чего тебе, кто?

— Двигай на своё место! — басит Гунн.

Я ещё немного вслушиваюсь в ночь и засыпаю.

Утро не приносит радости: сопки закрыты низкой белесой облачностью. Пространство ощущается, как в чёрно-белом фильме — серо и нереально. Редкие снежинки мягко падают на землю и не тают. Мы все пятеро стоим вокруг костра и молчим. Закопчённый чайник, посвистывая носом, мелко задребезжал крышкой, отчего она, как кепчонка, ухарски съехала набок.

— Да, преферансная погодка, — отмаргиваясь от дыма, пропел Витька.

— Снимай и как следует заваривай, — распорядился Гунн.

В этот момент и появились над озером чайки. Их было две. В бодрящий высокий крик одной влетелся другой — низкий и жалобный. Так кричат тяжелораненые или смертельно истосковавшиеся.

Чайка стонала. Одна из них опустилась на маленький островок, а другая, как бы умоляя лететь дальше, продолжала кружиться над озером, то камнем падая вниз, то косо скользя над водою, оставляя на ней стремительный росчерк.

— Беда кружит птиц, — тихо сказал Гунн. Чуть запрокинув голову, он грустно следил за чайками. Его зрачки суживались.

«Беда кружит птиц». В этих словах была сама безнадежность. Но кому лучше знать плакальщиц моря, как не ему. Недаром Гунн называл себя помором. Я догнал его у палатки.

— Что с ними? Почему улетают всех позже?

Он поворачивается ко мне.

— Хворая одна. Вот и запоздали, — Гунн посмотрел на меня долгим пустым взглядом.

— А ночью повалит снег — и всё... зима.

— Ну другая, здоровая, успеет же улететь! — почему-то кричу я в лицо Гунну. Он, не поворачивая головы, повёл глазами в сторону озера. Теперь на его лице жили одни белки.

— Не-е-ет! До конца разделят беду пополам. Гордые птицы!

Он отбросил полог и шагнул в палатку.

Небо хмурилось. Тихо поскрипывали ели. Все сильнее налегал на их тёмные громады холодный ветер. Я понял, что чайки обречены. Не успеют улететь. Догонит, сомнёт их зима, сожжёт их своим ледяным дыханием, и не станет на свете двух белых красивых птиц, крепко накрепко связанных железным законом любви.

Мы забрались в палатку и уселись за надоевший преферанс. Было ясно, что вертолёт не прилетит и сегодня.

Гунн медленно тасовал потрёпанную колоду карт. Внезапно, прорезав завывание ветра, от озера прилетели и раскололись громом выстрелы. Следом, гася их отголоски, выплеснулся отчаянный женский вопль. Он на высокой ноте ворвался к нам и затрепыхался, захлопал крыльями над палаткой.

— Патроны! Патроны! Там, в мешке! — отбросив полог, орал, задыхаясь, Витька. Он тянул к нам пляшущую руку и, распяля рот, ошалело шарил глазами по нашим лицам. Крича, он ввалился в палатку. В левой руке, облапившей цевьё тозовки, зажато крыло чайки. Тельце птицы печально моталось, а по белой грудке скатывались на пол тёмно-бурые градины.

— Там, в головах... в мешке! — требовал Князь, потрясая «добычей».

— Убил! — выдохнул Гунн, и губы его мелко задрожали. — Уби-и-ил!

— М-м-м... — как от зубной боли, замотал головой сосед Гунна.

Гунн медленно поднялся, выпустил из рук колоду карт и вдруг, застонав, врубил кулачищем в Витькину челюсть. Князь, прошелестев по брезенту, кулём вывалился из палатки и на четвереньках зацарапался в сторону. Мы окружили его. Витька, большой и жалкий, скуля, ползал у наших ног.

— Ребята-а! — высоко и монотонно выкрикивал он. — Не бейте-е!

А над нами, задевая нас крыльями, в тёмном горе билась в воздухе чайка, другая.

— Хворую добил! — сказал кто-то из нас и грязно выругался.

Не сговариваясь, мы отошли к потухшему костру. Витька поднялся, прикрыв рот рукавом телогрейки. Покачиваясь, побрёл в палатку и выбросил из неё спальный мешок. Следом вышел сам и, подобрав его в охапку, направился к груде отрядных вещей, закрытых брезентом. Гунн подошёл к чайке, бережно взял в руки её лёгкое изуродованное тельце и пошёл к озеру.

В эту ночь мы не спали. Шёл тихий густой снег. Он ласково обволакивал ели, мягко ложился на палатку. В ночи стонала чайка. Иногда её стоны приближались к нам, и тогда мы зарывались с головами в мешки и, пристыженные, жалкие, замирали.

Утром, после первого снегопада, тайгу не узнать. Наше озеро побелело. Мороз схватил его тонким ледком и присыпал снегом. Гунна в палатке не было. Кто-то гремел у костра посудой и глухо откашливался. Потом он вошёл к нам и грузно опустился на нары.

— Вторую видел. Где воду на чай брал, так рядом, — он пошарил в карманах. — Спички вот не найду. Пришлось вас будить.

Он взял протянутую коробку и вышел.

Мы оделись и цепочкой пошли к озеру. Редкие выпотрошенные тучи изредка набегали на солнце, и их тени, пятная снег, уплывали к югу, а он искристо смеялся. Было больно смотреть на его ослепительную наготу. У края озера мы остановились. Не знаю, кто первым потянул с головы шапку — перед нами на едва приметном холмике памятником верности стояла замёрзшая чайка. Другая.